

**ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕР:  
КЛАССИК И СОВРЕМЕННОК**



элинджер, безусловно, относится к классикам американской литературы. Он занимает это место по праву — его слава проверена временем. Уже полвека критики разноречиво объясняют смысл его произведений, а подростки читают взахлеб его главную мятежную повесть (которую чаще называют романом — за неимением у Сэлинджера более длинной прозы). Повзрослев и поумнев, они поддаются под странное очарование «Девяти рассказов». Книги, написанные в середине прошлого века, все так же свежи и живы — впрочем, для книг это, конечно, не срок.

Удивительно, что и сам Сэлинджер жив (в самом буквальном, не метафорическом, смысле). Удивительно не потому, что 87 лет — такой уж неслыханный возраст, а оттого что так долго тянется его молчание. Америка до сих пор не может смириться с этим непонятным затворничеством — и сопротивляется как может. Сэлинджер достойно держит оборону. И, в общем, сегодня уже можно с уверенностью сказать, что он победил.

История этой многолетней борьбы, однако, выглядит довольно поучительно. Сэлинджер поселился в Корнише, уединенном уголке Нью-Гемпшира, в начале пятидесятых годов. С 1965 года не издал ни одного нового произведения. Мало того — он наложил вето на ранние рассказы, опубликованные в 40-е годы в различных журналах. Правда, однажды все-таки появилось пиратское двухтомное издание, включающее всю когда-либо издававшуюся прозу, но Сэлинджер немедленно подал в суд на книгопродавцев, и крамольный

двухтомник был изъят из обращения со скандалом и огромными штрафами.

К голливудскому фильму «Мое глупое сердце», снятому по рассказу «Лапа-растяпа», писатель отнесся с отвращением и впоследствии не давал согласия на экранизацию своих произведений. Попытка взять у него интервью увенчалась успехом всего однажды: школьнице Ширли Блейни удалось разговорить знаменитого затворника, и отчет об этой беседе был опубликован в школьной газете. Сэлинджер был в ярости. В 1986—1987 годах он судился с Иэном Гамильтоном, подготовившим к изданию его биографию «Дж. Д. Сэлинджер. Жизнь на бумаге», где обширно цитировались письма писателя. Сэлинджер оформил авторские права на все когда-либо написанные им письма. Гамильтон раскавычил и перефразировал большинство цитат. Сэлинджер подал в суд. Первая инстанция решила дело в пользу Гамильтона, но Верховный суд изменил решение. Возможно, на судью произвели впечатление проникновенные слова истца: «Попробуйте перечитать свои письма сорокашестилетней давности. Это мучительное чтение». Книга была изъята из печати до выхода в свет и впоследствии переписана — новая версия называлась «В поисках Сэлинджера», и поиски, по всей видимости, оказались не слишком успешными. Как отмечали многочисленные рецензенты, «самое сердце» биографии было вынуто. О другой, более поздней биографии Сэлинджера, написанной Полом Александром в 1999 году, критики говорят, что она «будто склеена из кусочков» — что неудивительно, учитывая, что ему пришлось пользоваться лишь косвенными свидетельствами. В 2000 году был выпущен сборник, содержащий 80 писем к Сэлинджеру (от критиков, поклонников и собратьев по перу), что можно считать чистым жестом отчаяния.

Самый чувствительный удар по частной жизни Сэлинджера нанесли две книги: в 1998 году вышли мемуары некой Джойс Мейнард, в 2000 году — воспоминания дочери писателя, Маргарет Сэлинджер. Конечно, обе книги ждал верный коммерческий успех: публика слишком давно изнывала от любопытства и бессилия. Сочинение Джойс Мейнард представляет собой классический образчик жанра «сенсационных откровений» — и почти ничего не рассказывает о Сэлинджере. Дело в том, что знакомство автора и героя было

недолгим: в 1973 году восемнадцатилетняя Джойс Мейнард пережила короткий роман со знаменитым писателем (ему в ту пору было пятьдесят три года). После вдохновенной переписки с Сэлинджером Джойс бросила университет и переехала к нему в Корниш, где прожила не слишком счастливые девять месяцев. После чего Сэлинджер отослал ее домой. На мгновение перед нами приоткрывается тот мир, который Сэлинджер так яростно защищает от посторонних глаз, — спартанский быт, черно-белое кино по вечерам, книги, прогулки, медитации, строгая диета: яблоки, сыр, хлеб грубого помола. Но мир этот расплывается от нечеткого зрения рассказчика, его не удается рассмотреть в деталях. Пожалуй, единственным реальным оружием Джойс Мейнард были письма Сэлинджера, но, наученная горьким опытом Гамильтона, она не решилась цитировать, а в пересказе они рассыпались в пыль. Джойс Мейнард продала письма на аукционе в 1999 году за 156 тысяч долларов. Их купил разработчик программного обеспечения Питер Нортона — и возвратил писателю. Так что и этот раунд борьбы с публичностью был выигран Сэлинджером практически всухую.

Совсем другая история с книгой Маргарет Сэлинджер — это единственное свидетельство из первых рук, которое не только является основным источником биографических сведений о писателе, но и ставит множество болезненных вопросов.

Биография Сэлинджера, которую можно пунктирно проследить по немногим известным фактам, отчетливо делится на две части: жизнь, которая ему досталась, и жизнь, которую он сделал сам.

Джером Дэвид Сэлинджер родился 1 января 1919 года — и даже эта дата не имеет документальных подтверждений. Отец, Сол (Соломон) Сэлинджер, был еврей, импортер ветчины. Мать, Мириам, — ирландка, из католической семьи. (На самом деле ее звали Мэри, но она изменила имя из любви к мужу.) Еще была старшая сестра Дорис. Джерри рос в Нью-Йорке, сменил несколько школ, окончил военную академию в Вэлли-Фордж в Пенсильвании. Начал было учиться в университете Нью-Йорка, но бросил; отправился массовиком-затейником на круизном лайнере. Продержался семестр

в Урсинус-колледже в Пенсильвании (один из профессоров назвал его худшим студентом за всю историю колледжа). По настоянию отца провел несколько месяцев в Европе — семейному бизнесу так и не выучился, зато свободно заговорил по-немецки и по-французски. Недолгое время посещал литературные курсы при Колумбийском университете. Потом воевал. Сэлинджер был среди тех, кто высадился в Нормандии в день «Д» — в составе четвертой пехотной дивизии он участвовал в самых тяжелых сражениях, освобождал узников концлагеря, видел сотни смертей. Проведя одиннадцать месяцев в строю, попал в Нюрнбергский военный госпиталь с нервным расстройством.

Всего этого он не выбирал. Юный Джерри болезненно относился к полуеврейскому происхождению — сороковые годы в Америке были отмечены ярим антисемитизмом. У него были натянутые отношения с отцом — во взрослой жизни Сэлинджер мало с ним общался и не пошел на его похороны. Торговля ветчиной не привлекала будущего писателя, образование его было беспорядочным и не слишком обременительным (что впоследствии дало повод критику и писателю Норману Мэйлеру назвать Сэлинджера величайшим мыслителем из тех, кто не окончил начальной школы). Война нанесла глубокую травму его психике. Но с 1940 года Сэлинджер начал печатать рассказы — и это был первый шаг к другой, выбранной, судьбе.

Что до личной жизни писателя, по всей видимости, до войны он ухаживал за Уной О'Нил — дочерью драматурга Юджина О'Нила, и она предпочла юному поклоннику престарелого Чарли Чаплина. Маргарет Сэлинджер рассказывает странную историю о том, что после войны ее отец был недолго женат на женщине, воевавшей в немецкой армии, — он принимал участие в ее аресте и допросе, когда служил в контрразведке. Эта женщина ненавидела евреев почти так же сильно, как Сэлинджер — нацистов. Брак оказался эмоционально насыщенным и очень коротким. Когда через много лет Сэлинджер получил письмо от первой жены, он разорвал его, не читая. В своей новой жизни Сэлинджер будет выбирать женщин иначе — он научится создавать их силой воображения.

В 1948 году журнал «Нью-Йоркер» принял к публикации рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка» («A Perfect Day for Bananafish») — перевод заглавия неточен, и мы к этому еще вернемся. Этот рассказ чрезвычайно важен в творчестве Сэлинджера — это первый из выбранных им впоследствии «Девяти рассказов», именно начиная с него Сэлинджер готов признать собственное творчество. Все рассказы, написанные ранее и опубликованные в различных журналах, будут им безжалостно отбракованы. Кроме того, в «Рыбке-бананке» впервые появляется Симор Гласс — чтобы пустить себе пулю в лоб и одновременно положить начало саге о Глассах, которая скоро заполнит собой всю жизнь писателя.

Отношения Сэлинджера с «Нью-Йоркером» вначале складывались неудачно — молодой писатель получал отказ за отказом. Правда, в 1942 году был принят рассказ «Легкий бунт на Мэдисон-авеню» (именно там впервые появляется персонаж по имени Холден Колфилд), но напечатали его лишь в 1946 году. После «Рыбки-бананки» Сэлинджер становится постоянным автором журнала — в следующие три года в «Нью-Йоркере» были напечатаны почти все рассказы, вошедшие впоследствии в заветную девятку.

Однако в 1951 году журнал категорически отвергает роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (буквальный перевод названия: «Ловец во ржи»). Редакторы не могут решить для себя, «сумасшедший этот Колфилд или нет». Слава и деньги достаются издательству «Литтл Браун».

Роман «Над пропастью во ржи» сделал Сэлинджера знаменитым. Для большинства читателей Сэлинджер — это Холден Колфилд. Нескладный подросток, болезненно-чувствительный к фальши и уродству окружающего мира. Мальчик, потерявший младшего брата и трогательно преданный младшей сестренке по имени Фиби. Прочтения этого романа столь многочисленны, что голова идет кругом. Эту книгу прижимал к груди убийца Джона Леннона — он увидел в главном герое себя и решил, что пора действовать. Этой книгой зачитывались поколения подростков, остро чувствующих несовершенства взрослого мира, — они тоже видели в Колфилде себя и упивались собственной сложностью. Эту книгу запрещали в школах — видимо, школы тоже увидели себя в неприятном учебном заведении, откуда вы-

шибли нашего героя. Потом, правда, роман попал в списки обязательного чтения.

В России роман «Над пропастью во ржи» вышел в 1960 году в переводе Р. Райт-Ковалевой. Книга стала по-настоящему культовой: официальная версия гласила, что герой отвергает продажность и лживость капиталистического общества, читатель держал в кармане фигу и проводил свои аналогии. Книга стала паролем, позволявшим отличить своих. И, как водится, каждый узнавал в Колфилде себя.

Герой Сэлинджера оказался податливым зеркалом, готовым отражать что угодно — от психопатии до героизма (но неизменно создавая иллюзию избранности). Да и со стороны в Холдене Колфилде можно увидеть многое: и бунтаря, и жертву, и человека, который, не любя людей, горько обижается, что они не любят его (в русской литературе тоже есть такой герой — Чацкий). Не будем множить интерпретации. В этом произведении задана одна из главных тем творчества Сэлинджера — тема невинности, чистоты и неприятия «липы», притворства, условностей взрослого мира. Тема неприятия мира.

«...Им это так в конце концов осточертеет, что я на всю жизнь избавлюсь от разговоров. Все будут считать, что я несчастный глухонемой дурачок, и оставят меня в покое. Я буду заправлять их дурацкие машины, получать за это жалованье и потом построю себе на скопленные деньги хижину и буду там жить до конца жизни. Хижина будет стоять на опушке леса — только не в самой чаще, я люблю, чтобы солнце светило на меня во все лопатки. Готовить еду я буду сам, а позже, когда мне захочется жениться, я, может быть, встречу какую-нибудь красивую глухонемую девушку, и мы поженимся. Она будет жить со мной в хижине, а если захочет что-нибудь сказать — пусть тоже пишет на бумажке. Если пойдут дети, мы их от всех спрячем. Купим много книжек и сами выучим их читать и писать».

Сэлинджеру не пришлось «заправлять их дурацкие машины». Роман принес ему финансовую независимость, и он сразу же смог купить участок земли в Корнише, и построил там дом, и сам готовил еду. Надо полагать, он будет жить в этом доме до конца жизни. Ему почти удалось навсегда из-

бавиться от разговоров, да и «несчастливым глухонемым дурачком» его пытались представить неоднократно.

Роль красивой глухонемой девушки досталась Клэр Дуглас. Но сначала был рассказ «Голубой период де Домье-Смита» (1952 г.): «Я видел — вот она выходит мне навстречу, к высокой решетчатой ограде, робкая, прелестная девушка, лет восемнадцати, еще не принявшая постриг...» Так мечтает художник, герой рассказа. Так мечтает Сэлинджер.

«Даже жутковато, когда подумаешь, как Клэр, робкая, прелестная девушка только что из монастырской школы, вошла в жизнь моего отца, словно по заказу, материализовавшись из тумана его мечты», — пишет Маргарет Сэлинджер.

В момент их встречи Клэр было шестнадцать, Сэлинджеру — тридцать один. «Весь мир был в твоём отце — в том, что он говорил, писал, думал. Я читала то, что он велел .., смотрела на мир его глазами, жила, как будто он все время за мной наблюдает», — рассказывала Клэр выросшей дочери. Клэр пыталась освободиться от деспотического влияния Сэлинджера — она даже рассталась с ним на какое-то время, но обнаружила, что не может жить в разлуке. Она вышла за него замуж и, не доучившись всего четыре месяца, бросила университет, чтобы поселиться с мужем в Корнише. Быт в доме был примитивным и тяжким, вокруг — ни души. Каждый день Сэлинджер уходил работать в специально оборудованный бункер, и молодая жена оставалась одна на один с невыполнимыми бытовыми задачами. Потом родились дети — те, которых нужно было спрятать и уберечь.

«На самом деле это был мир, который колебался между сном и кошмаром на тонкой паутинке, сплетенной моими родителями, в котором не было ни намека на твердую почву, ни надежды, что тебя подхватят, если ты упадешь. Мои родители видели прекрасные сны, но они не способны были ухватить эти воздушные видения и привнести их в повседневную жизнь. Когда я родилась, моя мать сама была еще ребенком. Она постоянно грезилась и много лет, подобно Леди Макбет, страдала мучительным лунатизмом. Отец же писал книги и был мечтателем, из тех, что не могут толком завязать шнурки на собственных ботинках, — и уж тем более проследить за тем, чтоб ребенок не споткнулся и не упал», —

так вспоминает о своем детстве Маргарет Сэлинджер. В словах ее сквозит страх человека, попавшего в *чужой* сон.

Любопытно, что ее брат, актер Мэтт Сэлинджер, сохранил совсем другие воспоминания — он помнит веселого и внимательного отца, человека, который не только прекрасно завязывал собственные шнурки, но учил этому сына. Впрочем, брат с сестрой давно друг с другом не разговаривают и, видимо, редко приходят к общему мнению.

Может быть, участь Мэтта была легче оттого, что отец не пытался назвать его «Тедди». Дочери было уготовано имя «Фиби» — Сэлинджер хотел назвать ее в честь своей героини, но Клэр наотрез отказалась. Пожалуй, вся книга Маргарет Сэлинджер написана исключительно о том, как трудно состязаться с воображаемым совершенством. «В отличие от меня, его десятилетние герои, мои воображаемые сестры и братья, были совершенны, идеальны, они абсолютно отражали его вкусы», — с горечью пишет она.

В сущности, книга Джойс Мейнард совершенно о том же. Просто она не читала книг своего кумира и потому не понимала, что происходит. В эссе, опубликованном восемнадцатилетней Джойс в «Нью-Йорк таймс» — после которого Сэлинджер и написал ей первое письмо, — был пассаж, почти дословно повторяющий слова Эсме, героини одного из лучших рассказов Сэлинджера, о том, «как заманчиво уйти на покой». И на фотографии юного автора бросались в глаза несуразно большие наручные часы. «...Я помню, что мне захотелось что-нибудь сделать с огромными часами, которые красовались у нее на запястье, — посоветовать ей, чтобы она носила их вокруг талии, что ли». Эсме была раньше, чем Джойс. Фиби — раньше, чем Маргарет. Прелестная незнакомка из монастырской школы — раньше Клэр.

Сэлинджер нередко говорил, что все, кого он уважал, давно умерли. Порой ему казалось, что он нашел родственную душу среди живых — он употреблял слово *landsman* — на идише это значит «земляк» (так американские евреи называли человека, эмигрировавшего из того же европейского города). Обычно это ощущение родственности, «землячества», возникало при эпистолярном общении и не выдерживало личной встречи.



Сэлинджер также сохранил светлую веру в невинность и чистоту детства — но дети вырастают и переходят во вражеский лагерь.

Однако, помимо детей, покойников и эфемерных земляков, у него оставались Глассы. О том, какую роль в жизни писателя играло придуманное им семейство, можно судить по запальчивости Маргарет. Она с одинаковой бескомпромиссностью предъявляет счет Симору и отцу, кажется, не отдавая себе отчета в том, что один из них — всего лишь литературный персонаж.

Сэлинджер придумал себе семью, детство, то начало жизни, которое когда-то не волен был выбрать. Семеро детей-вундеркиндов — Симор, Обадия (Бадди), Беатрис (Бу-Бу), близнецы Уэйкер и Уолт, Зэкери (Зуи), Фрэнсис (Фрэнни) — и их родители, потомственные артисты Лес и Бесси Гласс, появляются или упоминаются во многих рассказах и во всех поздних повестях. Маргарет Сэлинджер писала, что ее отец продумывал жизнь каждого Гласса до мельчайших деталей, независимо от того, входили эти детали в рассказы или нет. Маргарет утверждает, что Сэлинджер продолжал писать о Глассах все эти годы — однажды он даже показывал ей сейф с рукописями: папки, помеченные красным, можно печатать как есть. Синим — редактировать...

Все лучшие рассказы Сэлинджера — и особенно те, что связаны с Глассами — обладают странным свойством: они просты, часто почти бессюжетны, но их смысл как будто ускользает, словно читатель пропустил что-то важное и непременно должен восстановить пропущенное. Эта зыбкость, неоднозначность повествования и представляет собой значительную переводческую трудность: переводчик вынужден так или иначе восполнять пробелы. Возьмем для примера рассказ о рыбе-бананке, где впервые появляется Симор Гласс. Дословно название этого рассказа следовало бы перевести как «Отличный день для банановой рыбы». Неясно, то ли это день, когда она хорошо ловится, то ли ее собственный счастливый день, когда она заплывает в пещеру, объедается бананами и умирает. В этот день Симор Гласс, отдыхающий у моря с молодой женой, пойдет на пляж, поболтает с маленькой девочкой по имени Сибилл, вернется в гостиничный номер и пустит себе пулю в лоб. Ведет он себя стран-

но — он говорит с ребенком, не считаясь с возрастом, цитирует «Бесплодную землю» Элиота, отвечает невпопад. Порусски речь героя смягчена уменьшительно-ласкательными суффиксами: «Сибиллочка», «купальничек». Элиот не узнается. Так достигается большая естественность диалога, но пропадает странность, трагическая интонация, подготавливающая финал.

Впрочем, оригинал тоже не дает ответа на вопрос, что, собственно, произошло. Проще всего, конечно, сказать, что герой не выдержал окружающего его духовного убожества, прелестная молодая жена оказалась слишком приземленной и чуждой ему по духу, и потому ему не осталось ничего, кроме как свести счеты с жизнью. Или, может быть, он жертва войны и разучился жить в обычном человеческом мире? В книге И. Галинской «Загадки известных книг» высказывается гипотеза, что все девять рассказов Сэлинджера выстроены в соответствии с теорией «дхвани», принадлежащей древнеиндийской поэтике. «Дхвани» — скрытый смысл, намек, внушающий настроение — иногда противоположное собственно содержанию рассказа. «Дхвани» могло внушить одно из девяти поэтических настроений: 1 — эротики, любви; 2 — смеха, иронии; 3 — сострадания; 4 — гнева, ярости; 5 — мужества; 6 — страха; 7 — отвращения; 8 — изумления, откровения; 9 — спокойствия, ведущего к отречению от мира». И. Галинская показывает, что каждый из девяти рассказов соответствует одному из девяти настроений, именно в этой последовательности.

Такое толкование Сэлинджера совершенно закономерно — всю свою жизнь он страстно (хоть и не всегда последовательно) увлекался буддизмом, индуизмом, йогой, дианетикой, макробиотикой и всякого рода нетрадиционной медициной. (Маргарет с содроганием описывает увлечение отца уринотерапией — однако, учитывая нынешний возраст Сэлинджера, можно предположить, что эти практики принесли ему больше пользы, чем вреда.)

Интенсивный духовный поиск нашел вполне отчетливое отражение в саге о Глассах — в повести «Выше стропила, плотники» много говорится о буддистских воззрениях Симора. Например, на вежливые расспросы будущей тещи о том, чем он хочет заниматься после войны, Симор невозмутимо

отвечает, что хотел бы быть дохлой кошкой, и потом объясняет невесте: «В буддийской легенде секты Дзен рассказывается, как одного учителя спросили, что самое ценное на свете, и тот ответил — дохлая кошка, потому что ей цены нет».

И. Галинская отмечает, что в древнеиндийской философии любовь — совсем не обязательно благо, поскольку «всякое желание человека, в том числе и любовное, расценивается как путь, ведущий к несчастью и злу», а самоубийство, напротив, может расцениваться как неизбежный и правильный шаг. Таким образом, с банановой рыбой можно сравнить слабого человека, который жаждет удовольствий и, таким образом, выбирает гибельный путь, «тогда как для Симора добровольная смерть — не гибель, а путь к спасению, к нирване».

Поможет ли нам такое объяснение рассказа? И да, и нет. Может быть, Симор и совершает убийство от полноты любви, но автор не разделяет его чувств — описание новобрачной полно той желчной брезгливости, которую всегда вызывает у Сэлинджера «взрослая» женственность и приземленность. (В советские годы сказали бы, что писатель клеймит мещанство и вещизм.) Так мы и остаемся с окурком сигары вместо свадебного подарка и чистым листком бумаги вместо объяснения.

Вряд ли сэлинджеровские рассказы можно расшифровать при помощи древнеиндийской поэтики. Но, может быть, главное, что он взял от учения «дхвани раса», — готовность позволить тексту быть многозначным. И, конечно, умение впустить в рассказ настроение, которое будет «слышаться читателю как отзвук, как эхо».

Девять рассказов были объединены в сборник и изданы отдельной книгой в 1953 году. После этого Сэлинджер написал еще пять повестей о Глассах: «Выше стропила, плотники» (1955), «Фрэнни» (1955), «Зуи» (1957), «Симор: Введение» (1969) и, наконец, «16-й день Хэпворта 1924 года» (1965). Повести эти еще более странные, чем рассказы, и наполнены своего рода универсальной религиозностью — его герои, как и он, полукровки еврейско-ирландского замеса, и их духовные поиски не ограничены конфессиональными

рамками. Несколько сбивает с толку то явное умиление, с которым автор следит за жизнью «святого семейства». Еще в 1961 году Джон Апдайк в эссе, посвященном повестям «Фрэнни» и «Зуи», отметил, что «Сэлинджер любит своих героев больше, чем их любит Бог». Мэри Маккарти — один из первых и весьма острых критиков писателя — идет еще дальше: «Кто эти вундеркинды, как не сам Сэлинджер, разделившийся простым делением, наподобие амебы?» — спрашивает она. Маргарет Сэлинджер гневно — и более прагматично — указывает на то, что «просветленность» всегда достигается за счет окружающих: «Это непросветленная сестра Тедди всю жизнь будет расплачиваться за то, что послужила орудием его праведного самоубийства, это жена Сеймура проснется, чтобы увидеть разлетевшиеся по комнате мозги и стать вдовой».

Все эти обвинения не лишены оснований. Поразительно другое: как легко Сэлинджер оказывается по одну сторону со своими героями. По одну сторону чего? Того барьера, что разделяет реальность и вымысел, жизнь и искусство. Словно и нет никакого барьера. Словно можно придумать себе жизнь и тех, с кем хочешь прожить ее.

Глухой старый Сэлинджер живет в Корнише. Соблюдает диету, медитирует. Утро проводит в своем убежище с Глассами. Вечером смотрит фильмы сороковых годов, натянув простыню в дверном проеме. Последняя жена моложе его на полвека. Может быть, нам удастся увидеть еще неизвестный кусок его странного мира — а может быть, и нет. Он создал этот мир не для нас — для себя. И сочинил его настолько хорошо, что захотел там остаться. Видимо, это и есть мастерство.

*Александра БОРИСЕНКО*

---

# 1



Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, — словом, всю эту Дэвидкопперфильдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копаться. Во-первых, скучно, а во-вторых, у моих предков, наверно, случилось бы по два инфаркта на брата, если б я стал болтать про их личные дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец. Вообще-то они люди славные, я ничего не говорю, но обидчивые до чертиков. Да я и не собираюсь рассказывать свою автобиографию и всякую такую чушь, просто расскажу ту сумасшедшую историю, которая случилась прошлым Рождеством. А потом я чуть не отдал концы, и меня отправили сюда отдыхать и лечиться. Я и ему — Д.Б. — только про это и рассказывал, а ведь он мне как-никак родной брат. Он живет в Голливуде. Это не очень далеко отсюда, от этого треклятого санатория, он часто ко мне ездит, почти каждую неделю. И домой он меня сам отвезет — может быть, даже в будущем месяце. Купил себе недавно «Ягуар». Английская штучка, может делать двести миль в час. Выложил за нее чуть ли не четыре тысячи. Денег у него теперь куча. Не то что раньше. Раньше, когда он жил дома, он был настоящим писателем. Может, слышали — это он написал мировую книжку рассказов «Спрятанная рыбка». Самый лучший рассказ так и называется — «Спрятанная рыбка». Там про одного мальчишку, который никому не позволял смотреть на свою золотую рыбку, потому что купил ее на собственные деньги. С ума сойти, какой рассказ! А теперь

мой брат в Голливуде, совсем скурвился. Если я что ненавижу, так это кино. Терпеть не могу.

Лучше всего начну рассказывать с того дня, как я ушел из Пэнси. Пэнси — это закрытая средняя школа в Эгерстауне, штат Пенсильвания. Наверно, вы про нее слышали. Рекламу вы, во всяком случае, видели. Ее печатают чуть ли не в тысяче журналов — этакий хлюст, верхом на лошади, скачет через препятствия. Как будто в Пэнси только и делают, что играют в поло. А я там даже лошади ни разу в глаза не видал. И под этим конным хлюстом подпись: «С 1888 года в нашей школе выковывают смелых и благородных юношей». Вот уж липа! Никого они там не выковывают, да и в других школах тоже. И ни одного «благородного и смелого» я не встречал, ну, может, есть там один-два — и обчелся. Да и то они таки-ми были еще до школы.

Словом, началось это в субботу, когда шел футбольный матч с Сэксон-холлом. Считалось, что для Пэнси этот матч важнее всего на свете. Матч был финальный, и, если бы наша школа проиграла, нам всем полагалось чуть ли не перевешаться с горя. Помню, в тот день, часов около трех, я стоял черт знает где, на самой горе Томпсона, около дурацкой пушки, которая там торчит, кажется, с самой Войны за независимость. Оттуда видно было все поле и как обе команды гоняют друг дружку из конца в конец. Трибун я как следует разглядеть не мог, только слышал, как там орут. На нашей стороне орали во всю глотку — собралась вся школа, кроме меня, — а на их стороне что-то вякали: у приезджей команды народу всегда маловато.

На футбольных матчах всегда мало девчонок. Только старшеклассникам разрешают их приводить. Гнусная школа, ничего не скажешь. А я люблю бывать там, где вертятся девчонки, даже если они просто сидят, ни черта не делают, только почесываются, носы вытирают или хихикают. Дочка нашего директора, старика Термера, часто ходит на матчи, но не такая это девчонка, чтоб по ней с ума сходить. Хотя в общем она ничего. Как-то я с ней сидел рядом в автобусе, ехали из Эгерстауна и разговорились. Мне она понравилась. Правда, нос у нее длинный, и ногти обкусаны до крови, и в лифчик что-то подложено, чтоб торчало во все стороны, но ее почему-то было жалко. Понравилось мне то, что она тебе

не вкручивала, какой у нее замечательный папаша. Наверно, сама знала, что он тепло несусветное.

Не пошел я на поле и забрался на гору, так как только что вернулся из Нью-Йорка с командой фехтовальщиков. Я капитан этой вонючей команды. Важная шишка. Поехали мы в Нью-Йорк на состязание со школой Мак-Берни. Только состязание не состоялось. Я забыл рапиры, и костюмы, и вообще всю эту петрушку в вагоне метро. Но я не совсем виноват. Приходилось все время вскакивать, смотреть на схему, где нам выходить. Словом, вернулись мы в Пэнси не к обеду, а уже в половине третьего. Ребята меня бойкотировали всю дорогу. Даже смешно.

И еще я не пошел на футбол оттого, что собрался зайти к старику Спенсеру, моему учителю истории, попрощаться перед отъездом. У него был грипп, и я сообразил, что до начала рождественских каникул я его не увижу. А он мне прислал записку, что хочет меня видеть до того, как я уеду домой. Он знал, что я не вернусь.

Да, забыл сказать — меня вытурили из школы. После Рождества мне уже не надо было возвращаться, потому что я провалился по четырем предметам и вообще не занимался и все такое. Меня сто раз предупреждали — старайся, учись. А моих родителей среди четверти вызвали к старому Термеру, но я все равно не занимался. Меня и вытурили. Они много кого выгоняют из Пэнси. У них очень высокая академическая успеваемость, серьезно, очень высокая.

Словом, дело было в декабре, и холодно, как у ведьмы за пазухой, особенно на этой треклятой горке. На мне была только куртка — ни перчаток, ни черта. На прошлой неделе кто-то спер мое верблюжье пальто прямо из комнаты вместе с теплыми перчатками — они там и были, в кармане. В этой школе полно жулья. У многих ребят родители богачи, но все равно там полно жулья. Чем дороже школа, тем в ней больше ворюг. Словом, стоял я у этой дурацкой пушки, чуть зад не отморозил. Но на матч я почти и не смотрел. А стоял я там потому, что хотелось почувствовать, что я с этой школой прощаюсь. Вообще я часто откуда-нибудь уезжаю, но никогда и не думаю ни про какое прощание. Я это ненавижу. Я не задумываюсь, грустно ли мне уезжать, неприятно ли. Но когда я расстаюсь с каким-нибудь местом, мне надо по-

чувствовать, что я с ним действительно расстаюсь. А то становится еще неприятней.

Мне повезло. Вдруг я вспомнил про одну штуку и сразу почувствовал, что я отсюда уезжаю навсегда. Я вдруг вспомнил, как мы однажды, в октябре, втроем — я, Роберт Тичнер и Пол Кембл — гоняли мяч перед учебным корпусом. Они славные ребята, особенно Тичнер. Время шло к обеду, совсем стемнело, но мы все гоняли мяч и гоняли. Стало уже совсем темно, мы и мяч-то почти не видели, но ужасно не хотелось бросать. И все-таки пришлось. Наш учитель биологии, мистер Зембизи, высунул голову из окна учебного корпуса и велел идти в общежитие, одеваться к обеду. Как вспомнишь такую штуку, так сразу почувствуешь: тебе ничего не стоит уехать отсюда навсегда — у меня, по крайней мере, почти всегда так бывает. И только я понял, что уезжаю навсегда, я повернулся и побежал вниз с горы, прямо к дому старика Спенсера. Он жил не при школе. Он жил на улице Энтони Уэйна.

Я бежал всю дорогу, до главного выхода, а потом переждал, пока не отдышался. У меня дыхание короткое, по правде говоря. Во-первых, я курю как паровоз, то есть раньше курил. Тут, в санатории, заставили бросить. И еще — я за прошлый год вырос на шесть с половиной дюймов. Наверно, от этого я и заболел туберкулезом и попал сюда на проверку и на это дурацкое лечение. А в общем, я довольно здоровый.

Словом, как только я отдышался, я побежал через дорогу на улицу Уэйна. Дорога вся обледенела до черта, и я чуть не грохнулся. Не знаю, зачем я бежал, наверно, просто так. Когда я перебежал через дорогу, мне вдруг показалось, что я исчез. День был какой-то сумасшедший, жуткий холод, ни проблеска солнца, ничего, и казалось, стоит тебе пересечь дорогу, как ты сразу исчезнешь навек.

Ух и звонил же я в звонок, когда добежал до старика Спенсера! Промерз я насквозь. Уши болели, пальцем пошевеливать не мог. «Ну, скорей, скорей! — говорю чуть ли не вслух. — Открывайте!» Наконец старушка Спенсер мне открыла. У них прислуги нет и вообще никого нет, они всегда сами открывают двери. Денег у них в обрез.

— Холден! — сказала миссис Спенсер. — Как я рада тебя видеть! Входи, милый! Ты, наверно, закоченел до смерти?



Мне кажется, она и вправду была рада меня видеть. Она меня любила. По крайней мере, мне так казалось.

Я пулей влетел к ним в дом.

— Как вы поживаете, миссис Спенсер? — говорю. — Как здоровье мистера Спенсера?

— Дай твою куртку, милый! — говорит она. Она и не слышала, что я спросил про мистера Спенсера. Она была немножко глуховата.

Она повесила мою куртку в шкаф в прихожей, и я пригладил волосы ладонью. Вообще я ношу короткий ежик, мне причесываться почти не приходится.

— Как же вы живете, миссис Спенсер? — спрашиваю, но на этот раз громче, чтобы она услышала.

— Прекрасно, Холден. — Она закрыла шкаф в прихожей. — А ты-то как живешь?

И я по ее голосу сразу понял: видно, старик Спенсер рассказал ей, что меня выперли.

— Отлично, — говорю. — А как мистер Спенсер? Кончился у него грипп?

— Кончился? Холден, он себя ведет как... как не знаю кто!.. Он у себя, милый, иди прямо к нему.

## 2

У них у каждого была своя комната. Лет им было под семьдесят, а то и больше. И все-таки они получали удовольствие от жизни, хоть одной ногой и стояли в могиле. Знаю, свинство так говорить, но я вовсе не о том. Просто я хочу сказать, что я много думал про старика Спенсера, а если про него слишком много думать, начинаешь удивляться — за каким чертом он еще живет. Понимаете, он весь сгорбленный и еле ходит, а если он в классе уронит мел, так кому-нибудь с первой парты приходится нагибаться и подавать ему. Помоему, это ужасно. Но если не слишком разбираться, а просто так подумать, то выходит, что он вовсе не плохо живет. Например, один раз, в воскресенье, когда он меня и еще нескольких других ребят угощал горячим шоколадом, он нам показал потрепанное индейское одеяло — они с миссис Спенсер купили его у какого-то индейца в Йеллоустонском

парке. Видно было, что старик Спенсер от этой покупки в восторге. Вы понимаете, о чем я? Живет себе такой человек вроде старого Спенсера, из него уже песок сыплется, а он все еще приходит в восторг от какого-то одеяла.

Дверь к нему была открыта, но я все же постучался, просто из вежливости. Я видел его — он сидел в большом кожаном кресле, закутанный в то самое одеяло, про которое я говорил. Он обернулся, когда я постучал.

— Кто там? — заорал он. — Ты, Колфилд? Входи, мальчик, входи!

Он всегда орал дома, не то что в классе. На нервы действовало, серьезно.

Только я вошел — и уже пожалел, зачем меня принесло. Он читал «Атлантик мансли», и везде стояли какие-то пузырьки, пилюли, все пахло каплями от насморка. Тоску нагоняло. Я и вообще-то не слишком люблю больных. И все казалось еще унылее оттого, что на старом Спенсере был ужасно жалкий, потертый, старый халат — наверно, он его носил с самого рождения, честное слово. Не люблю я стариков в пижамах или в халатах. Вечно у них грудь наружу, все их старые ребра видны. И ноги жуткие. Видали стариков на пляжах, какие у них ноги белые, безволосые?

— Здравствуйте, сэр! — говорю. — Я получил вашу записку. Спасибо вам большое. — Он мне написал записку, чтобы я к нему зашел проститься перед каникулами; он знал, что я больше не вернусь. — Вы напрасно писали, я бы все равно зашел попрощаться.

— Садись вон туда, мальчик, — сказал старый Спенсер. Он показал на кровать.

Я сел на кровать.

— Как ваш грипп, сэр?

— Знаешь, мой мальчик, если бы я себя чувствовал лучше, пришлось бы послать за доктором! — Старик сам себя рассмешил. Он стал хихикать как сумасшедший. Наконец отдышался и спросил: — А почему ты не на матче? Кажется, сегодня финал?

— Да. Но я только что вернулся из Нью-Йорка с фехтовальной командой.

Господи, ну и постель! Настоящий камень!

Он вдруг напустил на себя страшную строгость — я знал, что так будет.

— Значит, ты уходишь от нас? — спрашивает.

— Да, сэр, похоже на то.

Тут он начал качать головой. В жизни не видел, чтобы человек столько времени подряд мог качать головой. Не поймешь, оттого ли он качает головой, что задумался, или просто потому, что он уже совсем старикашка и ни хрена не понимает.

— А о чем с тобой говорил доктор Термер, мой мальчик? Я слышал, что у вас был долгий разговор.

— Да, был. Поговорили. Я просидел у него в кабинете часа два, если не больше.

— Что же он тебе сказал?

— Ну... всякое. Что жизнь — это честная игра. И что надо играть по правилам. Он хорошо говорил. То есть ничего особенного он не сказал. Все насчет того же, что жизнь — это игра и всякое такое. Да вы сами знаете.

— Но жизнь действительно игра, мой мальчик, а играть надо по правилам.

— Да, сэр. Знаю. Я все это знаю.

Тоже сравнили! Хорошая игра! Попадешь в ту партию, где классные игроки, — тогда ладно, куда ни шло, тут действительно игра. А если попасть на другую сторону, где одни мазилы, — какая уж тут игра? Ни черта похожего. Никакой игры не выйдет.

— А доктор Термер уже написал твоим родителям? — спросил старик Спенсер.

— Нет, он собирается написать им в понедельник.

— А ты сам им ничего не сообщил?

— Нет, сэр, я им ничего не сообщил, увижу их в среду вечером, когда приеду домой.

— Как же, по-твоему, они отнесутся к этому известию?

— Как сказать... Рассердятся, наверно, — говорю. — Должно быть, рассердятся. Ведь я уже в четвертой школе учусь.

И я тряхнул головой. Это у меня привычка такая.

— Эх! — говорю. Это тоже привычка — говорить «Эх!» или «Ух ты!», отчасти потому, что у меня не хватает слов, а отчасти потому, что я иногда веду себя совсем не по возрасту. Мне тогда было шестнадцать, а теперь мне уже семна-

дцать, но иногда я так держусь, будто мне лет тринадцать, не больше. Ужасно нелепо выходит, особенно потому, что во мне шесть футов и два с половиной дюйма, да и волосы у меня с проседью. Это правда. У меня на одной стороне, справа, миллион седых волос. С самого детства. И все-таки иногда я держусь, будто мне лет двенадцать. Так про меня все говорят, особенно отец. Отчасти это верно, но не совсем. А люди всегда думают, что они тебя видят насквозь. Мне-то наплевать, хотя тоска берет, когда тебя поучают — веди себя как взрослый. Иногда я веду себя так, будто я куда старше своих лет, но этого-то люди не замечают. Вообще ни черта они не замечают.

Старый Спенсер опять начал качать головой. И при этом ковырял в носу. Он старался делать вид, будто потирает нос, но на самом деле он весь палец туда запустил. Наверно, он думал, что это можно, потому что, кроме меня, никого тут не было. Мне-то все равно, хоть и противно видеть, как ковыряют в носу.

Потом он заговорил:

— Я имел честь познакомиться с твоей матушкой и с твоим отцом, когда они приезжали побеседовать с доктором Термером несколько недель назад. Они изумительные люди.

— Да, конечно. Они хорошие.

«Изумительные». Ненавижу это слово! Ужасная пошлятина. Мутит, когда слышишь такие слова.

И вдруг у старого Спенсера стало такое лицо, будто он сейчас скажет что-то очень хорошее, умное. Он выпрямился в кресле, сел поудобнее. Оказалось, ложная тревога. Просто он взял журнал с колен и хотел кинуть его на кровать, где я сидел. И не попал. Кровать была в двух дюймах от него, а он все равно не попал. Пришлось мне встать, поднять журнал и положить на кровать. И вдруг мне захотелось бежать к чертям из этой комнаты. Я чувствовал, сейчас начнется жуткая проповедь. Вообще-то я не возражаю, пусть говорит, но чтобы тебя отчитывали, а кругом воняло лекарствами и старый Спенсер сидел перед тобой в пижаме и халате — это уж слишком. Не хотелось слушать.

Тут и началось.

— Что ты с собой делаешь, мальчик? — сказал старый

Спенсер. Он заговорил очень строго, так он раньше не разговаривал. — Сколько предметов ты сдавал в этой четверти?

— Пять, сэр.

— Пять. А сколько завалил?

— Четыре. — Я поерзал на кровати. На такой жесткой кровати я еще никогда в жизни не сидел. Английский я хорошо сдал, потому что я учил Беовульфа и «Лорд Рэндал, мой сын» и всю эту штуку еще в Хуттонской школе. Английским мне приходилось заниматься, только когда задавали сочинения.

Он меня даже не слушал. Он никогда не слушал, что ему говорили.

— Я провалил тебя по истории, потому что ты совершенно ничего не учил.

— Понимаю, сэр. Отлично понимаю. Что вам было делать?

— Совершенно ничего не учил! — повторил он. Меня злит, когда люди повторяют то, с чем ты сразу согласился. А он и в третий раз повторил: — Совершенно ничего не учил! Сомневаюсь, открывал ли ты учебник хоть раз за всю четверть. Открывал? Только говори правду, мальчик!

— Нет, я, конечно, просматривал его раза два, — говорю. Не хотелось его обижать. Он был помешан на своей истории.

— Ах, просматривал? — сказал он очень ядовито. — Твоя, с позволения сказать, экзаменационная работа вон там, на полке. Сверху, на тетрадах. Дай ее сюда, пожалуйста!

Это было ужасное свинство с его стороны, но я взял свою тетрадку и подал ему — больше ничего делать не оставалось. Потом я опять сел на эту бетонную кровать. Вы себе и представить не можете, как я жалел, что зашел к нему проститься!

Он держал мою тетрадь, как навозную лепешку или еще чего похуже.

— Мы проходили Египет с четвертого ноября по второе декабря, — сказал он. — Ты сам выбрал эту тему для экзаменационной работы. Не угодно ли тебе послушать, что ты написал?

— Да нет, сэр, не стоит, — говорю.

А он все равно стал читать. Уж если преподаватель ре-

шил что-нибудь сделать, его не остановишь. Все равно делает по-своему.

— «Египтяне были древней расой кавказского происхождения, обитавшей в одной из северных областей Африки. Она, как известно, является самым большим материком в Восточном полушарии».

И я должен был сидеть и слушать всю эту несусветную чушь. Свинство, честное слово.

— «В наше время мы интересуемся египтянами по многим причинам. Современная наука все еще добивается ответа на вопрос — какие тайные составы употребляли египтяне, бальзамируя своих покойников, чтобы их лица не сгнивали в течение многих веков. Эта таинственная загадка все еще бросает вызов современной науке двадцатого века».

Он замолчал и положил мою тетрадку. Я почти что ненавидел его в эту минуту.

— Твой, так сказать, экскурс в науку на этом кончается, — проговорил он тем же ядовитым голосом. Никогда бы не подумал, что в таком древнем старикашке столько яду. — Но ты еще сделал внизу небольшую приписку лично мне, — добавил он.

— Да-да, помню, помню! — сказал я. Я заторопился, чтобы он хоть это не читал вслух. Куда там — разве его остановишь! Из него прямо искры сыпались!

— «Дорогой мистер Спенсер! — Он читал ужасно громко. — Вот все, что я знаю про египтян. Меня они почему-то не очень интересуют, хотя Вы читаете про них очень хорошо. Ничего, если Вы меня провалите, — я все равно уже провалился по другим предметам, кроме английского. Уважающий вас Холден Колфилд».

Тут он положил мою треклятую тетрадку и посмотрел на меня так, будто сделал мне сухую в пинг-понг. Никогда не прощу ему, что он прочитал эту чушь вслух. Если б он написал такое, я бы ни за что на свете вслух не прочел, слово даю. А главное, добавил-то я эту проклятую приписку, чтобы ему не было неловко меня проваливать.

— Ты сердисься, что я тебя провалил, мой мальчик? — спросил он.

— Что вы, сэр, ничуть! — говорю. Хоть бы он перестал называть меня «мой мальчик», черт подери!

Он бросил мою тетрадку на кровать. Но, конечно, опять не попал. Пришлось мне встать и подыгать ее. Я ее положил на «Атлантик мансли». Вот еще, охота была поминутно нагибаться.

— А что бы ты сделал на моем месте? — спросил он. — Только говори правду, мой мальчик.

Да, видно, ему было здорово не по себе оттого, что он меня провалил. Тут, конечно, я принялся наворачивать. Говорил, что я умственно отсталый, вообще кретин, что я сам на его месте поступил бы точно так же и что многие не понимают, до чего трудно быть преподавателем. И все в таком роде. Словом, наворачивал как надо.

Но самое смешное, что думал-то я все время о другом. Сам наворачиваю, а сам думаю про другое. Живу я в Нью-Йорке, и думал я про тот пруд, в Центральном парке, у Южного выхода: замерзает он или нет, а если замерзает, куда деваются утки? Я не мог себе представить, куда деваются утки, когда пруд покрывается льдом и промерзает насквозь. Может быть, подъезжает грузовик и увозит их куда-нибудь в зоопарк? А может, они просто улетают?

Все-таки у меня это хорошо выходит. Я хочу сказать, что я могу наворачивать что попало старику Спенсеру, а сам в это время думаю про уток. Занятно выходит, но когда разговариваешь с преподавателем, думать вообще не надо. И вдруг он меня перебил. Он всегда перебивает.

— Скажи, а что ты по этому поводу думаешь, мой мальчик? Интересно было бы знать. Весьма интересно.

— Это насчет того, что меня вытурили из Пэнси? — спрашиваю. Хоть бы он запахнул свой дурацкий халат. Смотреть неприятно.

— Если я не ошибаюсь, у тебя были те же затруднения и в Хуттонской школе, и в Элктон-хилле?

Он это сказал не только ядовито, но и как-то противно.

— Никаких затруднений в Элктон-хилле у меня не было, — говорю. — Я не проваливался, ничего такого. Просто ушел — и все.

— Разреши спросить — почему?

— Почему? Да это длинная история, сэр. Все это вообще довольно сложно.

Ужасно не хотелось рассказывать ему — что да как. Все

равно он бы ничего не понял. Не по его это части. А ушел я из Элктон-хилла главным образом потому, что там была одна сплошная липа. Все делалось напоказ — не продохнешь. Например, их директор, мистер Хаас. Такого подлого притворщика я в жизни не встречал. В десять раз хуже старика Термера. По воскресеньям, например, этот чертов Хаас ходил и жал ручки всем родителям, которые приезжали. И до того мил, до того вежлив — просто картинка. Но не со всеми он одинаково здоровался — у некоторых ребят родители были попроще, победнее. Вы бы посмотрели, как он, например, здоровался с родителями моего соседа по комнате. Понимаете, если у кого мать толстая или смешно одета, а отец ходит в костюме с ужасно высокими плечами и башмаки на нем старомодные, черные с белым, тут этот самый Хаас только протягивал им два пальца и притворно улыбался, а потом как начнет разговаривать с другими родителями — полчаса разливается! Не выношу я этого. Злость берет. Так злюсь, что с ума можно спятить. Ненавижу я этот проклятый Элктон-хилл.

Старый Спенсер меня спросил о чем-то, но я не расслышал. Я все думал об этом подлом Хаасе.

— Что вы сказали, сэр? — говорю.

— Но ты хоть огорчен, что тебе приходится покидать Пэнси?

— Да, конечно, немножко огорчен. Конечно... но все-таки не очень. Наверно, до меня еще не дошло. Мне на это нужно время. Пока я больше думаю, как поеду домой в среду. Видно, я все-таки кретин!

— Неужели ты совершенно не думаешь о своем будущем, мой мальчик?

— Нет, как не думать — думаю, конечно. — Я остановился. — Только не очень часто. Не часто.

— Призадумаешься! — сказал старый Спенсер. — Потом призадумаешься, когда будет поздно!

Мне стало неприятно. Зачем он так говорил — будто я уже умер? Ужасно неприятно.

— Непременно подумаю, — говорю, — я подумаю.

— Как бы объяснить тебе, мальчик, вдолбить тебе в голову то, что нужно? Ведь я помочь тебе хочу, понимаешь?

Видно было, что он действительно хотел мне помочь.



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Борисенко. Дж. Д. Сэлинджер: классик и современник</i> . . . . .	5
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ. <i>Роман</i> <i>Перевод Р. Райт-Ковалевой</i> . . . . .	19
ПОВЕСТИ . . . . .	193
Выше стропила, плотники. <i>Перевод Р. Райт-Ковалевой</i> . . . . .	195
Симор: Введение. <i>Перевод Р. Райт-Ковалевой</i> . . . . .	254
Фрэнни. <i>Перевод Р. Райт-Ковалевой</i> . . . . .	338
Зуи. <i>Перевод М. Ковалевой</i> . . . . .	366
ДЕВЯТЬ РАССКАЗОВ . . . . .	477
Хорошо ловится рыбка-бананка <i>Перевод Р. Райт-Ковалевой</i> . . . . .	479
Лапа-растяпа. <i>Перевод Р. Райт-Ковалевой</i> . . . . .	491
Перед самой войной с эскимосами. <i>Перевод М. Ковалевой</i> . . . . .	507
Человек, который смеялся. <i>Перевод Р. Райт-Ковалевой</i> . . . . .	522
В лодке. <i>Перевод Н. Галь</i> . . . . .	536
Тебе, Эсме, — с любовью и убожеством. <i>Перевод М. Ковалевой</i> . . . . .	545
И эти губы, и глаза зеленые... <i>Перевод Н. Галь</i> . . . . .	569
Голубой период де Домье-Смита. <i>Перевод Р. Райт-Ковалевой</i> . . . . .	581
Тедди. <i>Перевод С. Таска</i> . . . . .	610